ЕВДОКИЯ

В нашей махонькой, в шестнадцать изб, залесной деревушке Владимировке жила одинокая вдова Евдокия Васильевна Сиротина. Деревенские, кто постарше, так и называли её «вдова», а мы, послевоенная поросль, звали её бабой Дуней.

Так случилось, что, рано выйдя на городскую пенсию по выслуге, сделался я владельцем своего родового гнезда в двадцати саженях от Люнды – речки моего детства. Там и проводил летнее время в полном одиночестве, нисколько не тяготясь этим.

Пенсионная вольница на грядках да на пасеке в три улья, на рыбалке и на грибной охоте с моим лопоухим псом Бульком придавала сил на всю городскую зиму. Большая, старая, но крепкая ещё изба под новой шиферной крышей, с вполне исправной русской печью да ещё и подтопком была в полном моём распоряжении.

По старинному деревенскому ранжиру шабрёнкой мне как раз и приходилась Евдокия Васильевна. Это означает, что наши избы стояли на противоположных порядках, окна в окна. Так что не единожды за день приходилось нам общаться по разным хозяйственным хлопотам, да, впрочем, и без всякого повода.

Было бабе Дуне тогда уже прилично за восемьдесят годков. Небольшого росточка, сухонькая и безгорбая, передвигалась она, энергично помогая себе подожком. Поясняла старуха при случае, что походка у неё такая «от головы, которая часто покруживается, как во хмелю». Руки её были похожи на пучки прелой ржаной соломы, пропущенной через молотилку. На маленьком и удивительно гладком для ее лет личике – поблёкшие голубенькие глаза.

Был за ней такой неожиданный грех, как матерщина. Козушка ли заскочит на поленницу дров, петух ли соседский через одному ему известную прореху в заборе проникнет на четыре её заботливо обихоженные грядки, а то и без какой-либо причины сорила бабуля частенько непечатными словами. Не зло, но вполне доходчиво.

Как-то, ещё при жизни родителей моих, посмел я её спросить:

– Баб Дунь, а отчего хоть у тебя словечки матерные проскакивают?

– И-и-и, милок, – пропела баба Дуня, – сказка эта давнишняя. После пропажи без вестей Феденьки моего, на войну с первых дней взятого, сподобил меня Господь ещё и погорелицей стать. Вот тогда я впервой судьбинушку свою и обложила по матушке. Катёнка годовалая на руках, а мне двадцать годочков. А свёкор-инвалид под себя валит, а свекруха, царствия ей небесного, как вон та собака злющая, гавкает. Хоть молись, хоть матерись, а жить-то надо как-то было…

А ты слушай знай, коли спросил. Так вот, в те поры, как известие про Фёдора моего поступило, я и к гадалкам, и к старушкам богомольным украдкой хаживала. Сама, бывало, под лампадкой вздутой с молитвой часами простаивала. А тут, при пожаре-то, стою статуём перед стопой избяной обгорелой в одной рубахе исподней и ругаюсь по-матерному.   
И откуда что взялось да на язык попало. Да… Вот так всё и приключилось.

Только и успели мы с маменькой тогда свёкра на одеяле в окошко вытащить. А Катёнку мою Нюрашка Пекосина, покойница, в окошко же приняла. Да… а выгорели мы уж по осени, после Покрова. Со стороны двора, на сеннице, полыхнуло. Вот с той поры, милок, и приключилась со мной энта самая хворь матерщинная, тудыть её в качель да и оттудова. Ведь и сама знаю, что негоже делаю, а всё ж-таки ругнусь на неуправу какую, оно и как-то легше делается. Помирать хоть уж и вчера пора бы, а вот попривыкла и словца поганого за собой не замечаю…

Вот такую историю рассказала мне тогда Евдокия Васильевна.

А уж потом докучать ей расспросами о подробностях жизни я не решался, а она сама и не набивалась с ними.

Славилась в деревенских пересудах она всё-таки больше тем, что не было в сенокосную страду лучшего стояльщика на стогу, чем вдова. До преклонных лет корову держала. В молодые годы накашивала да намётывала ей сенца на зиму одна-одинёшенька. Нужда заставляла. Пройдётся пластами по краям, к стожару сухого разнотравья накидает, заберется с копны на зарод да и топчет его, ровняет.

Когда у неё побаливала голова, что случалось нередко, баба Дуня, пусть и неурочно, немедленно принималась за мытьё полов и в избе, и в сенцах, и на крылечке. Тяжёлая тряпка-мокруша так и разлеталась от её рук, хлеща по углам и ступенькам. Кряхтя и потихоньку матерясь, жаловалась она сама себе на загруженность домашними делами. Не раз слыхивал я от её окошек такие причитания:

– Ты норовишь, как бы от дела, а дело за тобой! Ну нет ни продыху и ни просвету... трам-ра-рам!

И это притом что не было никакой нужды в наведении блеска в её хоромах. Может быть, хороший врач-невролог и смог бы просто и доходчиво объяснить сей медицинский феномен, но помогала же эта терапия моей соседке. Сразу после того, как расстилался последний из многочисленных пёстрых домотканых половичков, баба Дуня с облегчением вздыхала и тихонько приговаривала:

– А ведь и попрошла голова-то! И боли уж нет такой, и покруживает не так круто.

За годы одинокой старости она привыкла беседовать сама с собой и со своими четвероногими домочадцами. Была у неё коза Зайка и кот Васяга.

Обычно сидела летним ласковым вечером моя шабрёнка на своей завалинке. Из-за крыльца видны были туманные от испарины, после обильного полива, аккуратные грядки с изумрудной щеткой лука и другой зелени.

Хозяйка ворчит по своему обыкновению:

– Ну вот куда, куда могла запропаститься эта деревянная скотинка?

Это она любимую свою козушку так честила. Любила Зайка, как и все её сородичи, ветками зелёными лакомиться да кору с вишенья и таловых кустов обдирать. Вот и награждала её баба Дуня ещё не самым оскорбительным прозвищем.

– Ну чёрт, прости Господь, а не коза, – распаляла она себя. – И ведь нет, почитай, во всей деревне такой полазучей.

А Зайка и впрямь на нечистого смахивала, как его на иллюстрациях к гоголевским повестям изображают. Некрупная, с коричневым окрасом меха и толстыми, загнутыми назад рогами и почти чёрной мордочкой, уж никак не соответствовала коза своему имени, а вот на бесёнка хрестоматийного как раз и походила. Сходство приближали выпученные и будто всевидящие глаза и плутоватая улыбочка. Да-да, эта козья особь, от которой частенько страдало и моё домовладение, могла ехидно улыбаться, не уставая при этом, как ножницами, шустренько стричь острыми зубками травинку или веточку.

Уставившись на хозяйку своими наглыми гляделками, она будто бы спрашивала:

– Ну и отчего так разгорепашилась, старая? И куда ты от меня денешься?

И между ними вмиг устанавливались предобрые отношения. Старушка провожала свою подопечную до хлевушка, отщипывая мякиш от ломтя хлеба, хотя её бестия легко могла хрумкать и закопчённой корочкой.

Управившись с Зайкой, баба Дуня устраивалась на насиженном месте завалинки и вновь находила повод для недовольства: луковая муха кормилась на грядках и не боялась даже молодой пахучей лебеды, разложенной по межам.

Поглаживая рыжего, не в меру упитанного кота, соседушка моя наконец-то успокаивалась:

– Гляди-ко, Васяг, – проговаривала она, – а заря-то нынче и на крашенье шёлка, знать, годна. Вольный свет, он никогда не надоест… Поживём ещё немножко, сколь Господь велит…

И вот в эту пору не оскверняла она свои старушечьи уста непотребными словечками.

Как-то предложил я Евдокии Васильевне подкосить траву вокруг её избы триммером.

– Да не люблю я эту вонючую тарахтелку, лучше косёнкой своей пошаркаю. Разве что вот с улицы, вдоль заборки…

После моих лопуховых и крапивных хлопот пригласила она меня на чай, и я не отказался.

Просторная, в одно жило изба с белёной барыней-печью, чистота и порядок. Старческой неряшливости не было и в помине. Особый, забытый теперь запах с дресвой промытого некрашеного пола. Стены и потолок также не тронуты краской. Широкая лавка под окошками. Николай Угодник строго поглядывал из угла с почерневшей доски. На столе, застеленном цветастой клеёнкой, раздув бока, красовался золотисто-жёлтый самоварище. Его конфоркой играло замаянное за день солнышко. Мы пили чай из блюдечек вприкуску.

Мне известно было, что большую часть жизни своей Евдокия Васильевна была одинока. Зная, прямо скажем, несколько вздорный характер соседки, выведывать при чаепитии подробности её судьбы мне и в голову не приходило. Рядом с божницей располагалась, как бы сейчас назвали, «фотопрезентация» предков ближайших поколений. Бородатые и усатые, молодые и не очень, угрюмые мужики в напряжённых позах сидели на венских стульях, уложив крупные свои пятерни на коленях, будто напоказ. Многие из них были в форменных кителях и при фуражках. Женщины и в строгих платочках «шалашиком» и с открытыми толстыми косами примостились стоя, рядышком. А если у них на руках были приодетые в одежду, что почище, детки, то мамочки занимали центральную позицию на тех же стульях с витыми спинками.

Уловив мой интерес к снимкам, баба Дуня с кряхтеньем поднялась с табуретки и через пару минут вынесла из запечья деревянную коробочку-ларец с облезлой местами краской. Взяла в руки небольшую, изрядно поблёкшую фотографию:

– Вот они, Фёдор с Дуняшкой, – тихо, с придыханием проговорила она.

Через длинную паузу как-то даже горделиво придвинула ко мне снимок, не выпуская его из своих заметно подрагивающих и как будто застывших в хватательном движении пальцев.

– Евдокия Васильевна, а это ведь действительно ты!

– А кто же ещё? Аль не узнал?

Нет, узнал я. В невысокой, улыбчивой девице, почти девчушке, и через толщу десятилетий угадывалась сидящая передо мной бабулька, и наоборот. Та, далёкая, предвоенная, стеснительно, вытянув руки по швам, стояла у новой избы с немудрёными наличниками. Рядышком, плечо в плечо с ней, был запечатлён редким в те годы, видать, заезжим фотографом очень уж серьёзный бравый паренёк со съехавшим на лоб кучерявым чубом.

– За два года до войны Сиротины этот дом выстроили, – поясняла баба Дуня, – по брёвнышку, по горбылику собирали. Покойный свёкор мой тогда на стройке и расшибся, со стропилины спиной на кряж упал.

А Фёдор мой на полтора годочка меня постарше. Только на Миколу зимнего мы с ним поженились, а к лету и война зашла. Вторым из деревни моего-то и забрали…

Она бережно прибрала фотографию в коробочку и прикрыла чистой пёстрой тряпицей. А мне подала пожелтевший солдатский конверт-треугольник, из которого выглядывал уголок написанного химическим карандашом фронтового послания:

– Вот, два письма прислал Федюша. Храню их пуще облигаций. Пишет, что на войне, мол, как на войне, и самой смерти бояться недосуг…

А я развернул листочек серенькой бумаги, едва не прохудившийся на сгибах. На просвет можно было увидеть в нём древесные пылинки-опилки и даже меленькие щепочки и тёмные пятна земли или золы. Читал я неровные строчки (орфография письма сохранена):

«18 августа 141 года. Здравствуйте тятя и мама, Катя и Боря, и жена моя, Евдокия.

Во-первых строках своего письма сообщаю, что я пока жив и здоров, и вам того желаю. Переживаю, как вы управились с сенокосом и как уродилась картошка, как вы там все обходитесь? Дуня, жалко, что пожить нам пришлось всего немного. Привет от меня всем деревенским… У нас тут идёт подходящая пальба и трескотня. Прощайте мои дорогие, прощай дорогая супруга моя, Евдокия. Может увидимся ещё, а может и нет…»

На этом записка неровно обрывалась и текстом, и бумагой. Из конверта выпала ещё четвертушка бумаги с синим казённым штемпелем в левом углу. В коротеньком печатном тексте с выпавшей буквой «л» значилось, что « красноармеец Сиротин Фёдор Павлович, призванный 24 июня 1941 года Воскресенским военкоматом Горьковской области, служил в 543-ем пушечно-артиллерийском полку на Смоленском направлении. Пропал без вести в бою под городом Вязьмой».

А Евдокия Васильевна продолжала свою печальную повесть:

– Вот с той поры и не было весточки от моего Феденьки. Деревенские бабы всё шептали мне: «Молись за упокой». А я вот всё жду…

И вот тут будто приличного вольтажа разряд электротока отметился у меня где-то между лопатками. Ведь моя почти девяностолетняя собеседница чётко выговорила «жду», а не «ждала».

Скорбящее личико бабы Дуни вдруг будто осветилось изнутри ласковым светом. Должно быть, это и был отблеск многолетней Надежды и Любви.

И привиделось мне тогда, что вот-вот, нарушая предвечернюю уютную тишину старой, с малость подгоревшим простенком избы, шагнёт через порог на широкую, выскобленную до блеска половицу русский солдатик.

И ещё был горд я в ту минуту, что сам – тоже русский…